

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ



«ПРОЛЕТАРИИ»

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ • МОИ ЛУЧШИЕ СТРАНИЦЫ



БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

**МОИ
ЛУЧШИЕ СТРАНИЦЫ**

С ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ В. ПОЛОНСКОГО
АВТОБИОГРАФИЕЙ И ПОРТРЕТОМ АВТОРА

Старому союзу

*Андрееву
Кавказу
Медведеву*

Зима 1928

Артем Веселый

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОЛЕТАРИЙ“

[89171—32 (081)]



[1927]

Укрглавлит № 835

Зак. № 259

Тир. 5000

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

I

Артем Веселый не принадлежит к числу „модных“ пролетарских писателей. Его имя не занимало еще такого видного места, как, напр., имена Ю. Либединского или Ф. Гладкова. Артема Веселого похваливали в меру, хлопали по плечу сочувственно, но без восторга. В его талантах мало кто сомневался, но „козыряли“ Артемом Веселым лишь в случаях крайней необходимости. И сам он, человек дикий, мало общительный, не навязывал себя читателю, бия кулаком в грудь, не вопил на перекрестках о своих достоинствах. Артем Веселый остался в стороне от поветрия саморекламы, которое, как дурная болезнь, заразило некоторых „молодых“. А, между тем, писатель

этот заслуживает большого внимания. Пройдет немного лет, и произведения А. Веселого будут переводить иностранцы, и несуразное имя его станет вровень с самыми славными именами новейшей нашей литературы.

II

Написал Артем Веселый до сего времени немного. Да и писать он стал не так давно: в 1921 г. впервые в „Красной Нови“ появилось это имя. Сказать, что Веселый сразу завоевал признание — нельзя. Правда, его произведения привлекали простонародной яркостью, первобытной грубостью языка, размахистостью манеры, но они были вместе с тем расплывчаты, неорганизованы, смутны. Однако, в этих широких набросках чувствовался темперамент настоящего художника, еще не нашего себя. Видно было также, что автор — в плену языковой стихии, которую безуспешно пытается одолеть. В первых произведениях своих Артем Веселый не справлялся с языком. Богатейший, очевидно, запас языковых

наблюдений, не подчиненный художественной воле, превращался в пеструю ткань, которую без словаря осилить бывало трудновато. Словесные самоцветы, которым позавидовал бы записной фольклорист, Веселый щедрой рукой рассыпал по страницам. Но чем больше выигрывали они в яркости, тем больше проигрывали в четкой простоте. К „Рекам огненным“, написанным „блатным“ жаргоном, автор приложил даже словарик, без которого повествование для непосвященного оставалось темным.

В недостаточной технической подготовленности, в малой „выучке“ лежали главные причины, почему Артем Веселый не развернулся сразу. Удивляться тут нечему. Насколько нам известно, автор „Страны родной“—подлинный пролетарий: это значит, что гимназических и иных курсов он не проходил, систематических знаний не получил, а вышел в жизнь—гол, как сокол, не вооруженный ни культурным опытом, ни навыками литературного ремесла. Такова судьба пролетарского писателя: все это ему приходилось добывать горбом, самоучкой, в

взрослых летах—уже после того, как он колесом прошел по нашей необъятной стране, побывал на фронтах, партизанил, делал революцию с мужиками, зубрил (урывками!) литературную азбуку, почитывал (впервые!) классиков. Оттого-то ранние произведения его были внутренне робки, несмотря на внешнюю размахистость и удаль. Но даже эти произведения заставляли принять Веселого „всерьез“. Было ясно, что перед нами не диллетант, после житейских кораблекрушений пытающийся бросить якорь в затонах литературы. В этом молодом парне с красноармейскими замашками, грубым голосом и угловатой речью, принесшем с собой воспоминания о партизанщине и фронтовой борьбе, чувствовалась большая сила.

Но вот перед нами „Страна родная“—роман с подзаголовком „Фрагмент“, и начало эпопеи „Россия, кровью умытая“ (десятая книга сборника „Недра“). Эти вещи дают нам возможность признать, что в лице этого пролетария расцветает еще одна яркая надежда нашей молодой литературы.

Те „два залпа“, из „России, кровью умытой“, которые напечатаны в „Недрах“, представляют собой лишь „завязку“ эпопеи. Масштаб напечатанных двух частей, свободное развертывание материала, широкая задача, поставленная автором, говорят о том, что самое значительное — впереди. Перед нами лишь отрывок огромной картины, как бы вступление к повествованию, в котором мы увидим Россию „со всех сторон“ — солдатскую, деревенскую, партизанскую, городскую, рабочую. Желая, очевидно, выдержать стиль „солдатской эпопеи“, художник подразделяет ее не на „части“ и „главы“, а на „крылья“ и „залпы“.

Пугачовская, дезорганизованная и дезорганизующая стихия крестьянско-солдатского разлива показана с большой жизненной правдой. Именно здесь, в изображении разнуздавшегося „мужичья“, сломал бы себе шею буржуазный писатель, в котором ненависть к „мужику“, свирепому в своем бунтовском протесте, одержала бы верх над всеми другими мотивами. Не раз поскользнулся бы и попутчик. Но

Артем Веселый — сам мужик и солдат. Атом этого могучего потока, он изнутри знает его правду. В картинах жестоко мрачных автор сохраняет каменное спокойствие. Мы не знаем, какой ценой оно ему достается, но думаем, что без него немислимо создание художественного произведения из *такого* материала. Можно было бы перефразировать известное изречение Спинозы: „Художник хочет не плакать, не смеяться, а изображать“. Он с одинаковым хладнокровием говорит о человеческой крови и дымном дыхе паровоза. При этом звериное в человеке не поглощает человеческого, жестокость толпы чередуется с детской отходчивостью; грубая дикость солдата сопровождается глубоко запрятанной нежностью. При несомненном преобладании темных красок, Артем Веселый умеет при этом бросать свет так, что его не поглощают тени. Оттого-то жестокая живопись его не вызывает угнетающего чувства, какое вызывали в свое время „Деревня“ И. Бунина, „Наше преступление“ И. Родионова, и вообще все попытки буржуазных

художников дать так называемое „правдивое“ изображение деревни.

Берясь живописать мужицкую темноту, авторы эти не могли управиться с распределением света и тени. Да иначе и быть не могло: *барин* писал о *мужике*. Но вот перед нами сам мужик. Вооруженный талантом и знанием литературного ремесла, он говорит о мужике без сантиментов и без злобы. Картина получается не менее жестокая, но лишенная беспросветности. Артем Веселый не оскорбляет и не отталкивает, ибо говорит ту правду, которой надо смотреть в глаза; это — горькое, но целебное лекарство. Не оттого ли его эпопея оставляет бодрящее впечатление?

III

По первым частям трудно, разумеется, судить о всем произведении. Но и сейчас уже можно заключить, что наш автор — не „бытовик“, все старания свои прилагающий к тому, чтобы достичь большего сходства с натурой. В эпопее, развертываемой им, есть лейтмотив,

преодолевающий развал, хаос и кровь; это — идея революции, побеждающей железом своей организованной воли.

Если оторваться от художественной образности эпопеи и раскрыть схематизм ее композиции, она предстанет в виде схватки двух стихий, боровшихся в нашей революции: стихии неорганизованной, бунтовской, партизанской, перерождающейся в бандитизм, и стихии пролетарской, организованной, революционной, городской. История гражданской войны, если взглянуть на нее с этой точки зрения, заключалась в борьбе революции — против бунта, Красной армии, как принципа, — против партизанщины, также принципиальной. Эта замечательная схватка, происходившая в каждом углу нашей необъятной страны, бросила свет на все наше искусство: она ставила ведь кардинальный вопрос, от судьбы которого зависел „завтрашний“ день: победит ли пролетариат, как индустриальный класс, организующий освободительную борьбу в союзе с трудовым крестьянством, и руководящий крестьян-

ством, которое также превращается в *организованную* силу, или же победит начало докапиталистического русского бунта, партизанщина махновщина.*

В Артеме Веселом есть черты, напоминающие молодого Максима Горького. Но в нем нет горьковской скорби. Артем больше революционер, чем Горький, и ближе к революционному мужику, на которого Горький смотрит сквозь очки, покрытые пылью времени. „Двоедушие“ мужика вызывает в Горьком и отношение к мужику двойственное. Артем Веселый сам мужик, с такими же, как он, мужиками кормил вшей в окопах, проливал кровь — свою и чужую; бунтовщик и партизан, он перепла-

* Мотив борьбы „деревянной Руси“ с „железным гостем“ был одним из центральных мотивов лирики Сергея Есенина. Любопытно сопоставить художественное воплощение этого мотива в „Сорокоусте“ (соревнование красногривого жеребенка и паровоза) с замечательной картиной единоборства быка с паровозом в „Стране родной“ Артема Веселого. В обоих случаях побеждает „железо“. Вот тема — о „железном“ мотиве в современном нашем искусстве, достойная внимания.

вил в себе бунтовской дух и, сделавшись коммунистом, не видит в мужике двоедушия. Это в корне отличает отношение Артема к деревне.

В его деревенской живописи нет идеализации. Вот человек, который, не моргнув, смотрит правде в глаза! Он видит темную, неграмотную, разворошенную деревню именно такую, какова она есть. Но он видит в ней то, чего не видели или не умели видеть писатели дореволюционной эпохи, — ее социальное расслоение, которое разрушает представление об едином психологическом лице мужика. Нет мужика „вообще“, как нет человека „вообще“: есть деревенские верхи и деревенские низы, мир борющихся социальных групп, восстановленных революцией друг против друга. Артем Веселый знает, наконец, новый тип деревенского мужика, о котором понятия не имела дооктябрьская литература, порожденный революцией, хлебнувший городской цивилизации; это — деляга, организатор, нередко партиец, председатель комбеда, исполкомщик. По бо-

гатству социального состава, по многообразию человеческих типов нынешняя деревня разительно не походит на старую. Вот это социальное многообразие, эту *новизну, принесенную революцией*, в окружении развороченного, сдвинувшегося деревенско-уездного быта умеет показать Артем Веселый.

IV

„Страна родная“ изображает уездный город Ключвин, где есть советская власть, маленький оазис рабочей революции. А вокруг Ключвина — необозримые просторы снегов, в которых „дымились теплые гнезда деревень“.

Противопоставление рыхлой, старо-деревенской стихии, питавшей партизанщину, городу, несшему с собой организованное начало, мы видим и здесь. Настоящей темой „Страны родной“ и является это противопоставление: перед нами процесс, каким в аморфную, многомиллионную деревенскую массу, раскинутую на огромных пространствах, лишенную связи и единства интересов, раздираемую социальными

антагонизмами, бросаются элементы кристаллизации. Небольшие группы коммунистов, организаторы комбедов и советов, полные энергии несокрушимой воли, направляют, подбадривают, наставляют, собирают недоимки, шлют приказы, декреты, угрожают и убеждают, если можно—миром, если надо—силой,—эти удивительные люди вносят в деревню небывалую динамику, движение, быстроту, новые идеи, новые способы жизни. Им противостоит расстроженный и пытающийся стабилизироваться кулаческий крестьянский мир, мир стяжательства и хищников, самогона и дедовских преданий, мир мужицких интересов и традиций, который добрался до своей станции и дальше ехать не желает. Борьба новизны со старинной — рабоче-крестьянской революции с кулацко-крестьянской реакцией—таково содержание „Страны родной“, и не без умысла последняя строка ее лирически подчеркивает этот лейтмотив эпопеи:

„Страна родная... Дым, огонь — конца-краю нет“...

Организаторы, храбрецы, революционеры показаны Веселым прежде всего как сильные люди, люди большой воли. Можно сказать, что героем Артема Веселого вообще является сильный человек. Лишь только из массы выделяется человек с упорной волей, с крепкой духовной мускулатурой — пусть это будет партизан или бандит, революционер или кулак, — Артем Веселый обращает на него внимание, освещает его с головы до ног, следит за его судьбой. Все почти главные лица, которых мы встречаем в „Стране родной“, начиная с Гильды и кончая пекарем Ванякиным „бешеным комиссаром“ — крепки, упорны, несокрушимы. „Лицо Капустина тяжелое, мужичье, будто круто замешанный черный хлеб“, — вот какими словами характеризует революционера Веселый. „Вся подобранная и свернутая, как аккуратная лошадь, она удивляла его своим спокойствием, и энтузиазм молодости в ней был запрятан, как огонь в кремне“, — такова Гильда. Достаточно прочесть первую строку характеристики Павла Гребенщикова, чтобы

почувствовать энергию, выпирающую из человека: „Павел Гребенщиков молод, огромен лохмат“. Все это любимцы нашего автора, у него не в чести слабые люди. Он ненавидит слюнтяев. Тот же Гребенщиков, шутя, обзывает вертлявого поэта и артиста Гречихина „интелегушкой“. Это ироническое прозвище может войти в оборот. Он не щадит революционеров с интеллигентской рефлексией. Достаточно прочесть дневник Елены Константиновны Судаковой: коммунистка, „члениха исполкома“, „завнаробразиха“, она „делала все, что было в ее силах и власти, утешала обиженных, утирала слезы плачущим, вообще врачевала душевные раны“. Несмотря на это, автор разоблачает хлибкую интеллигентку, как мешок, набитую рассуждениями, сомнениями, переживаниями, мерехлюндией. Она полезна революции, спору нет, но она лишена цельности, душевной крепости, устойчивой силы, и автор казнит ее, не жалея. Не без авторского сочувствия Павел советует ей посыпать мозги нафталином.

В „Стране родной“ есть неровности, много длиннот, неоправданных задачей автора, события следуют в хаотичном беспорядке — нет четкости в расположении материала. Преодолев в себе „партизанщину“ идеологическую, Артем Веселый еще не разделался до конца с „партизанщиной“ в своих композиционных приемах. Именно в композиции заключены его слабые стороны. В „Стране родной“ она разорвана, смутна, импрессионистична — лишена стройности.

Недостаток этот не так уж страшен, если принять во внимание молодость нашего автора, его ревнивое отношение к своему труду, настойчивое упорство, с каким он преодолевает препятствия на своем писательском пути. При всем том яркая талантливость автора, его молодая сила, бодрость его живописи, размах его заданий, — все это, вопреки указанным недочетам, сообщает его последним произведениям тот блеск, который обеспечивает ему читательское внимание и заставляет ждать от него новых успехов.

Нельзя отказать автору в умении оживить повествование характерным историческим материалом. Так, вкраплены доклады, приказы, плакаты, декреты, телеграммы, дневник, даже продуктовые карточки, даже продовольственное объявление,—но все это в меру, не назойливо, именно там, где надо. Умелое пользование этим материалом сообщает вещи незабываемый колорит эпохи—суровой, великой, стремительной.

V

Изображая какую-нибудь среду, Артем Веселый пытается и весь мир изобразить глазами этой среды. В „России, кровью умытой“ это особенно заметно: солдатчина и ход событий изображаются не с точки зрения стороннего, хотя бы и объективного наблюдателя. „Россия“ показана нам сквозь зрение мужика, одетого в солдатскую шинель. В этом нет ничего случайного. Это не только прием. Артем Веселый и в самом деле „мужицкий“ писатель. Он лишен всякой изысканности, и тонкие

эстеты, воспитанные на „изящной“ литературе, вряд ли найдут какую-нибудь прелесть в этом воистину неизящном писателе. Его язык ярок и груб, шероховат и непричесан, его остроты, балагурство, — все это пахнет деревней и фронтовыми землянками. Бытовые детали, порой отвратные, но невыносимо сочные, также от солдатского мировоззрения и мирочувствия. Язык солдатни, корявый и забористо цветистый, круто посыпанный перцем и солью брани и прибауток, выдержан на всем протяжении романа. Это не стилизация под „народный“ говор, не прием, использующий народные обороты, матерщину, прибаутки. Здесь сама простонародная речь, как она есть. Мне думается даже, что, если бы Артем Веселый попытался написать „Россию, кровью умытую“ языком интеллигента, наблюдающего события со стороны, — получилась бы никчемная вещь, каких немало дали последние годы. Веселый тем и силен, что, показывая нам мир глазами простонародного участника борьбы, он социальное, культурное и психологическое состояние выво-

димой среды показывает и в языке. Мужичский эпос разворачивается так, как если бы он был творением тех самых солдатских масс, которые послужили материалом для эпоса. В этой особенности писателя сказывается теснейшая, кровная связь его со средой, которую он живописует: устами его заговорила полным голосом русская мужичья стихия эпохи пролетарской революции. Это она подсказывает ему свои грубые шутки, нашептывает образы коряво-мужичьи, сочные и выразительные. Голос Артема Веселого — голос революционной массы, обретшей самое себя, нашедший своего художественного выразителя. Если Сергей Клычков, автор замечательного „Чертухинского балакиря“, является рупором, которым говорит до-революционная русская деревня, ее зажиточные, верхние прослойки, то устами Артема Веселого заговорила деревня эпохи революционной, деревня, побывавшая на фронте, развалившая его и направившаяся по домам ломать и перестраивать старую жизнь. Тот факт, что А. Веселый — рабочий, а не хлебороб, дела

не меняет. Это обстоятельство обеспечивает лишь необходимое условие, без которого не было бы *революционной* эпопеи, а именно: победу в мировоззрении автора организующего городского, пролетарского начала. Изображая деревню. Веселый видит ее глазами городского, а не сельского пролетариата. Он знает, куда идет поток событий; пути будущего ему открыты. Это и делает пролетарским его „деревенское“ повествование. Это именно и позволяет ему бесстрашно обнажать язвы деревенского быта, унаследованные от царизма и далеко еще не изжитые. Пролетарская, т.-е. революционная точка зрения спасает его от пессимизма, от испуга, от малодушия: он понимает что это ступень, которой не избежать, и которую надо преодолеть.

Артем Веселый пишет не торопясь, и то, что пишет, не спешит предать гласности: он много и настойчиво работает. Одно из самых крупных заблуждений молодежи заключается в уве-

ренности, будто литература—легкое искусство. Веселый знает, какой большой ценой покупается каждое художественное слово. Это значит, что он на верном пути: замок славы открывается именно ключом труда.

Вяч. Полонский.

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился я на Волге, в г. Самаре, в семье волжского крюшника.

Рос в рабочей слободке.

В самом раннем детстве попал на Волгу в рыбачью артель, в которой и плавал два лета и две весны.

Недолгое время перед революцией работал на Самарском трубочном заводе, на ломовой; учился в приходской и городской школах.

Весной 1917 года, в самом начале революции, вступил в партию большевиков, в каковой работаю и до сих пор.

В революцию кинулся со всем пылом и жаром молодости.

Вел низовую партийную работу, был бойцом в красной гвардии, председателем уездного партийного комитета, редактором, потом опять

Автобиография

солдатом на южном фронте, матросом. Короче сказать, не вылезал из шинели до осени 1922 года.

Потом—рабфак, но ученье как-то не пошло мне впрок: с рабфака я ушел сам, а из вуза меня выгнали „за полную неспособность к наукам“.

Писательством занимаюсь с времен гражданской войны. Первой вещью считаю „Реки огненные“ (напечатано в „Молодой Гвардии“, январь 1923 г.). За этим рассказом следуют „Вольница“, „Дикое сердце“ и „Страна родная“.

Теперь пишу новый большой роман „Россия, кровью умытая“ — его уже начал печатать в московских журналах.

Отроду мне двадцать семь лет.

Артем Веселый.

Март 1927 г.

РОССИЯ, КРОВЬЮ УМЫТАЯ

(ИЗ РОМАНА)

BOCCACCIO, GIOVANNI

1570

*В России революция.
Вся Россия на ножах.*

Горы, леса, битые дороги.

По хожаным дорогам, по козьим тропам
несло солдат, ровно мусор весенними ручьями.

На полустанке тысячный табор — по ночам
до неба развертывалось зарево костров, — все
рвались на посадку, посадки не было.

Редкие поезда летели на север, гремя —

— песнями —

— уханьем —

— свистом...

Дребезжащие теплушки были насыпаны лю-
дьми под завязку, как мешки зерном.

— Земляки, посади!

— Некуда.

— Надо ехать али нет? Две недели ждем...

— Пыжжайте, мы вас не держим.

— Как-нибудь...

— Полно.

— Товарищи...

— Куда прешь? Афонька, сунь ему горячей
головяшкой в рожу.

— Депутат, голоса везу! — охрипло кричал
Максим и, как икону, поднимал перед собой
урну с солдатскими голосами.

Его никто не слушал.

Обгоняя колеса катились тыщи сердец и
стуко-тук-тук-тукотали:

...до-мой...

...до-мой...

...до-мой...

Вывязал Максим из мешка последнюю кра-
юху хлеба и принялся махать ею перед бегу-
щими мимо вагонами:

— Е! Ей!

Рябой казачина на лету подхватил краюху,
Максимовы мешки, и самого Максима через
окно в вагон втащил.

Тесновато, но ехать можно.

— Закрой дверь, холодно, — кричит один из-
под лавки, а дверь с петель сорвана и сожжена

давно, окошки в вагонах побиты—терпи, едешь не куда-нибудь, а домой.

Лобастый краснобай, свеся с верхней полки стриженую ступеньками голову, с захлебом рассказывал:

.
Смеялись дружно, смеялись много, заливались смехом. Накопилось за три-то годика, а на позиции не до веселья—кто был, тот знает.

— Это что!—вылез из-под лавки тот, который кричал „Закрой дверь, холодно“, — вот я вам расскажу сказку, так это сказка...

Его сказка развернулась на большой час, была полна она диковинными похождениями отпускного солдата... Сколько им было проставков обмануто, сколько добра доброго поуворовано, сколько зелена вина выпито и сколько девок покалечено...

В том же вагоне ехал и генерал седенький избитый в один синяк. Босые опутанные бечевками ноги его болтались в рваных валяных обрезках, а плечи прикрывал дубленый, казен-

ного образца, полушубок. В измятый котелок он подбирал с полу объедки и сосал их. Тощий и кроткий, как малое дитя, он и спал на полу, подложив под голову свою фуражку в красном околыше.

Захочет старик до ветру, а его и в дверь не пускают.

— Лезь,—кричат,—в окошко, как мы лазим.

Максиму жалко стало старика. Пригласил его на лавку присесть.

— На добром слове спасибо, братец. Недостоин я с солдатами в ряд сидеть... За выслугу лет в чистую вышел... — а у самого слезы так и катятся.

Со всех сторон руганью, ровно поленьями, швыряли в него:

— Глот, давно подыхать пора... Вишь, морду-то растворжили...

— Може, из озорства ему накидали.

— Зря бить не будут, бьют за дело.

— Выбросить вон на ходу из окошка, и концы в воду. Мы походили пешком, пускай они походят.

— Брось, ребята,—вступился Максим,—чего старика терзать? Едет и едет, чужого места не занимает.

— Правильно,—поддержал лобастый сказочник с верхней полки,—всем ехать охота, а из них тоже которые до нашего брата понятие имели.

Ехал тот генерал к дочери в Пензу. До самого Тифлиса кормил его Максим и на прощанье чулки шерстяные подарил:— „На, носи!“

На каждой остановке солдаты будто из-под земли росли. С ревом, лаем лезли в окна, висли на подножках, штурмом брали буфера, на крышах сидеть места не хватало, ехали на стойках. Под составами визжали немазанные колеса, прогибались рельсы.

Под Тифлисом русским стало плохо.

Грузией правили меньшевики. На вокзалы они высылали целые команды своих агитаторов. Под национальные знамена грузинцы собирали свою армию, армяне—свою, татары—свою. В оружии у них был большой недостаток. и вот на разоружение эшелонов выкатили

они в Ганжинский район свой бронепоезд. Разоружить мало кого разоружили, но на станции Шамхор врасплох побили народу бесчисленно, потому что понимали солдат, как погромщиков и большевиков.

Солдаты осердились.

Поймают где грузинца, татару или армяна, тут ему и шаксей-ваксей: тесаком по арбузу, проволокой за шею и на телеграммный столб вздернут, — на ноги еще камней понавешают, — мне плохо, но и из тебя, карапет, душа вон! Одного ихнего офицера к забору штыками пригвоздили, другого — в нефтяном баке утопили.

Город гремел музыкой, был залит вином, а фронтовикам хлеба не давали, фронтовиков в город не пускали — погромов боялись — и пачками толкали дальше, на Баку,

Гремя выстрелами и руганью составы уходили на восток.

— Эх! — крикнул подвыпивший Максим из двери теплушки, глядя на уплывающий в дыму город и грозя винтовкой, — на фронт прово-

жали цветами, а встречаете лопухами... Ну, погоди, вашу в столбовую жилу мать, не попадетесь ли где в тесном месте.

— Не серчай, земляк,—хлопнул Максима по плечу сосед,—меньшевиков узнали, хороша партия, дай ей бог здоровья, дальше поедем, может, еще почище узнаем.

— Уж больно обидно... Кричат: равенство, братство, а сами нороят хватить тебя под самый дых, и хлеба не дают ни крошки.

— Ладно, и нам какой кудрявый попадет под лапу, пускай пощады не просит.

— Спуску не дадим.

— С винтовкой, ребятишки, не расставайся. До самой смерти держи ее, матушку, на изготовке, и ни одна собака к тебе не подступит, потому хотя она кусаться и любит, а голова у ней всего-на-всего одна.

За Тифлисом началась война.

Наезжие из аулов татары большими и малыми отрядами нападали на эшелоны—под счастье—грабили их, разоружали и спускали под крутые откосы.

На путях голодали люди, дохли лошади.

Поезда двигались тихо, в затылок друг за дружкой. По ночам отстаивались поезда в полной боевой готовности.

Фронтвики ехали одиночками, командами, полками, с артиллерией, обозами, со штабами. Походным порядком, развернутым фронтом, сбивая по дороге отряды азиатов, проходили отдельные части четвертого и пятого стрелковых корпусов.

Акстафа, Евлах, Елисаветполь — на каждой станции перестрелка, суматоха... На горах пылали татарские аулы, гудели батареи, дымом пожаров было перекрыто все Закавказье.

Булга.

Станция обвешана эшелонами.

Прямо по земле и по дикому камню, будто вихрем, были разметаны лохмотья, ноги в разбитых сапогах, мешки, и на мешках включенные головы и рожи вспухшие — то ли от длительной бессоницы, то ли с большого пересыпу.

Недалеко в горах регулярный казачий полк дрался с татарами. Ружейные залпы раскаты-

вали далекое эхо, тишину нежного утра громили пушки.

По хорошо слышным разрывам фронтовики определяли калибр:

— Трехдюймовка...

— Тожа...

— Горняшка... Должно, иха.

— Ого, жаба плюнула...—Бомбомет.

— Да, эта по затылку шелкнет, пожалуй на ногах не устоишь.

За семафором шальной снаряд —

— ! бумм!..

— разбрызгал грязь и панику.

Кто закрестился, кто за мешки — и наутек.

— Бьют, курвы.

— Ссыпайся...

— Ганька, канай, Ганька...

— Господи, твоя воля...

— Ат, псы гололобы.

— Стой, не бегай. Дерутся они с казаками, нас не тронут.

— Как жа, по головке погладят.

— Эдак, не доживя сроку, умрешь.

— Делегацию бы послать на братанье, как на фронте.

— Сымай штаны, ложись спать... Они те набратают, вольный свет не взвидишь... Вон лежат бедняги, награжденные за верную и усердную службу.

В дверях разграбленного складочного сарая на новеньких рогожках, прикрытые шинелями, рядом лежали два зарезанные пехотинца — погон Гунибского полка. Вчера они были высланы от своего эшелона на переговоры с татарами, нонче их нашли в канаве, за насыпью.

Рядом, как малиновый куст под ветром, плескался костер. Жарко пылала обшивка вагонная, закипая по ребрам краской. В закопченных, нечищенных котелках пучилась мамалыга и кукуруза. Чернобородый большой солдат вытащил из мешка курицу, хрупнув, откусил ей голову, выплюнул голову в костер и, прислушиваясь к орудийному гулу, сказал:

— Ах, стервецы, дорвались... Чисто разбойники... И чего проклятым дома не сидится, и чего псам надо?

Пыл лизал курицу, наколотую на сизый штык.

Обглоданный болезнью, заскорузлый парень зябко кутался в шинель и, жадно раздувая ноздри на гарь куриных перьев, соглашался с черным:

— Подлющий народ, Сила Нуфрич, хуже собак...

— Бежать, одно.

— Бежать, бежать, тут хорошего не жди.

— Дожили до мату.

— Будь татары одни, мы бы их живо раскуделили, а то ведь за них наш позиционный офицер воюет, вот жаркота...

— Да што ты?

— Верно... Вчера за Курой пымали двух азиятов и с ними офицеришку русского. Давай им хвосты крутить, давай допытывать, какому они богу молятся. С татарина много не спросишь — бельмэ, бельмэ — рукавами себя по ляшкам бьют, бритыми башками качают: „Была барашка маного, была лошадка маного, была маладой жена маного, слобода стал —

барашка не стал, слобода бар — лошадка ёк, ёканда маладой жена, бальшавой чадра снимал. Бальшавой кричал „Буржу! буржу — с права урка тебя бьют, с лева урка тебя бьют, биллигы джиргицын, плахой порядка пошел“... Над азиятами смеючись, кишки мы себе порвали, а к офицеру покруче подступили. Спросили его чего-то, он отвечает: „Не могу знать“. Еще спросили, он опять — „не могу знать“. Тогда подошел к нему один сапер и бяк его по рылу, бяк еще, он и заговорил... То да се, хотим, мол, задержать ваше позорное бегство и завернуть армию обратно на пронт.

— Чисто.

— Черепки у них варят... Там били нас и тут бьют, там фрутли и тут путают.

Шел Максим за кипятком, увидел зарезанных и остановился. Располоснутые от уха до уха горла их были разинуты кровавым зевом, а из-под коротких шинелей торчали грязные мертвые ноги — пятки вместе, носки врозь. Максим перекрестился, положил к холодным ногам гривенишную марку и прошел, пошел, по-

махивая котелком. Вернувшись к себе в вагон, он закурил, и махорка показалась ему бо-о-ольно сладкой.

Тут же, во дворе разрушенного дома, за каменной оградой, на камышевом снопе толстая армянка отпускала и пешему и конному. Лицо и голова ее были закрыты ее же латаными засаленными штанами.

Казачий офицер подбежал к очереди и махнул плетью:

— Разойдись!

Солдаты качнулись, заурчали, как собаки над костью, но ни один не сдвинулся с места.

Ударить солдата офицер не решился. Подойдя к женщине, он стегнул ее плетью по выкатившемуся из разорванной кофты смуглому плечу и приказал встать.

Через силу она встала.

Сплеснула.

И, натягивая стеганые штаны, заплакала:

— Они мне три рубля обещали.

Из-под локтя у офицера вывернулся бойкий, плутоватый солдатишка и лихо козырнул:

— Позвольте доложить, вашбродь, она ж дуручка, ничего не понимает, ей все равно. Шелк не рвется, булат не сечется, скиньте ее на нашу долюшку, да — в волюшку...

— Приказываю разойтись... Сотню с плетями вызову.

Армянка собрала в уголок шали куски завалянного сахара, который ей накидали вместо обещанных рублей, и под общий хохот сразу развеселившейся очереди, заплетая ногу за ногу, побрела в поселок.

В вокзальном садике три кучки. В одной — играли в орла, в другой — убивали начальника станции, и в третьей — китайченочек показывал фокусы:

— Шинд'ла минд'ла... О мотлия, шалика лука ложия... Ас! Дуа! П'хо! Пой'егла? Куа шалика пой'егла? Ни сная, спласи ната, — перекосив чумазую, как сапожное голенище, рожицу, он лукаво пошептался со своим деревянным божком и обрадованно закричал:

— Ла! Сная! Маа бох доблы...

По кругу зрителей бродил хохот:

— Ах, бес...

— Заноза-мальчонок. Наш русский давно бы в куски пошел, ну а этот — уйди, вырвусь.

Чернобородый большой солдат, расталкивая народ и на ходу обсасывая последнюю куриную ногу, орлом летел добивать начальника станции: говорили, будто еще дышит.

В эшелонах смеялись и плакали гармонии, гремели удалые песни. В почернелых, обожженных зноем и стужей лицах веселой тревогой блестели глаза. Между путями плясали русского и гопака. Топотом кованых ног, гиком и хлопаньем жестких ладош заглушали недалекую оружейную пальбу.

В телеграфе делегаты от эшелонов дермушили телеграфиста, паровозы от него требовали, а сзади в дверь напирали насыпью, вытягивали шеи:

— Тут не мундировку раздают?

— Ну? Семка, наших покличь.

— Легче, земляк, легче.

— Где мундировку дают?

— В очередь, в очередь, все равны.

— Куды, чорт, лезешь?

— Не больно черти, а то я те так чиркну, пойдешь отсюда вперед пятками. Не погляжу и на лычки твои.

— Что тебе мои лычки поперек горла встали?

— Положил я на них с прибором, теперь никто никого не боится.

— Мундировка?..

— Не... Нащет паровозов.

Очередь, вставшая за мундировкой, дает гулкий залп матюков и рассыпается.

Припертый к стенке телеграфист бормотал ровно спросонья. Перед его круглыми глазами прыгали солдатские подбородки, грязные усы, вспотевшие лица и орущие рты. Грудь его форменной тужурки крепко когтила лапа вожака:

— Сказывай останний раз, будут паровозы ай нет?

— С мясом выдерем!

— Нам, так и так, ехать!

— Хомут на белу душу!

Из крахмального воротничка тянулась гусиная шея телеграфиста, кипели синие губы его:

— Товарищи, милые, господи... Я сам за новый режим... Даже боролся, имею соответствующие документы... Паровозы не от меня зависят...

Ударили голоса:

— Каля-каля пополам да надвое!..

— Глаза нам не отводи.

— Вынь да выложь.

— Все буржуям продались!..

— Празднички да гуляночки.

— Шутки плохие...

— Чаво с ним собачиться? Потрясти надо, тады и паровозы будут...

— Братцы, даю честное, благородное...

Тянулись руки за телеграфистовой душой, сыпались светлые пуговицы с тужурки...

— Говори, не дашь паровозов?

— Бей, сучья жила, телеграмму в Баку...

Вызывай паровозы телеграммой из Баки...

— Аппараты вы сами же разбили...

Злобой коптил солдатский глаз.

— Смерть иль живота?

— Должон ты расстараться. Хлеб мужичий ешь, а уважить мужику не хочешь?..

— Лукин, чипыхни его.

— Эх, патриёт, война до победы!—хлесток кулак Лукина: телеграфист затылком об стенку, уклеенную плакатами:

Заем свободы.

Уу —

— взрыв —

— стены вокзала дрогнули —

— блестящим звоном брызнуло
оконное стекло.

Бросив, телеграфиста, кинулись вон.

Ядучий дым перехватывал дыхание, слепил глаза.

Метались плачущие стоны и крики:

— Кроют... Митька, где наши?

— Санитара давай!..

— Тре-тья со-тня в цепь!

Ветер размыл начесы дыма.

Около опаленного взрывом фонарного столба корчились, стонали люди. Раненых и контуженных волокли из вагонов. Бегали санитары с носилками. На подъездном пути несколько сорванных с рельс теплушек были поставлены

на попа, стенки близстоящих классных вагонов были обмяты, а стекла выхлеснуты.

Пьяненький артиллерист Карской крепостной артиллерии, прислонившись к столбу, размазывал кровь по испуганному помучневшему лицу и, с удивлением разглядывая изодранную в клочья шапку-вязёнку, которую он держал в руках, рассказывал окружавшим его фронтовикам:

— Наш батареец Паньчо взорвался, истинный Христос... За салом мы с ним в поселок ходили, сала не нашли, выхлебали вина кувшин. Ворочаемся так, тихо и смиренно разговариваем, а у Паньчо на горбу полный мешок бомб и динамиту—в Расею, бедняга, вез, буржуев глушить... Сала мы не нашли, колбасы до смерти захотелось, колбасы тоже не нашли. Ворочаемся так и степенный разговор ведем, ни нам никто, ни мы никому. Глядим—вагона нашего нет. Искали-искали, нету вагона. „Это насмешка над нами, говорю, тут стоял вагон и нету вагона, айда-ка до дежурного по станции, поговорим с них тихо, благородно“. Только мы

с Паньчом, господи благослови, до этого места дошли, только начали про дежурного расспрашивать, откуда ни возьмись чумаха-парень. „Кой,— кричит,— черт на дороге стоите“— и ударь, стервец, моего дружка котелком по горбу: Паньчо зашипел и взорвался... Вот одна шапка от него и осталась, а уж парень-то какой добро был, боже ж ты мой...

Солдаты, ахая и матюкаясь, принялись разглядывать изодранную, окровавленную шапку с прилипшими к ней клоچьями рыжих волос.

На горах пальба стихла.

К полудню, под песни и бренчанье походного бубна, вернулись из боя казаки. Они привели с собой легких, как зори, татарских коней, — пленных дорогой порубили, — громовое —

Ура-а-а!..

— встретило их.

Эшелоны, под которыми были паровозы, сорвались и, гремя железными костями, покатали на восток. Эшелоны, под которыми не было паровозов, остались голодать на разгромленной станции.

Солдатские эшелоны летели, как льдины в славную весну.

В Баладжарах затор.

Кобылки скопилось сто тысяч — сбор богородицы, разных губерний и частей, — ехать не на чем, ехать боялись: слышно было — по всему Азербейджану и Дагестану с гор бьют, а ехать все-таки надо.

На горизонте переливались сочные бакинские огни, а в Баладжарах было холодно, голодно и неприятно.

По вагонам, закутавшись в бурки и овчины, спали казаки и туркмены, осмоленные жирным солнцем Месопотамии. Домой они везли уздечки да крылья седельные, а кони их потонули в песках, в походах.

У костров обсушивались и дремали солдаты Персидского корпуса, ногами перемерявшие ветровые версты от Кавказа до Мосул-Диальских позиций и обратно. Иные по году и больше хорошей воды не видали, а хлеба настоящего и на нюх не нюхали. Цынготные десны их сочались гноем, литую мужичью

кость ломала тропическая малярия, язвы и струпья разъедали шкуру томленную. Непролазна грязь урмийская, остры камни Курдистана, глубоки пески Шарифхане.

Стался тяжелый говор. Огни костров выхватывали из темноты то высветленную оковку приклада, то костыли раненого, то одичавшие, врезанные в голодное лицо глаза.

С моря

перекатом

шел воевой ветер

и черным стоном

штурмовал горы.

Утром из городу в реквизированных автомобилях прикатили агитаторы. Они ругали буржуев и хвалили солдат. Самыми последними словами кляли Учредительное собрание и восхваляли свои большевицкие Советы.

Фронтвики все слушали с интересом, но в потоках ругани они с большей жадностью вылавливали весточки о родине: в России спугнута учредилка, в России мужики громят помещиков, в России борьба из-за власти двух

течений — большевики и буржуи, по Кавказу горцы кричат: „Свобода, долой гяуров“, в Чечне у каждого богача и у каждого разбойника своя партия — все друг друга режут, ингуши подняли белый флаг на покорность, а Дагестан передается исламу и Турции.

Паровозы рывкнули, и солдаты, не дослушав длинную резолюцию о поддержке большевиков, с криками — „правильно! правильно! Долой войну!“ — стали разбегаться.

Поезда выматывались на простор.

Через каждый состав на паровоз была протянута веревка со звонком. Спали в полглаза. Чуть тревога — начинали звонки звонить, ружья палить, гудки орать. Отбивали нападение и катили дальше.

Стучали колеса, сыпались —

— станции —

— лица —

— дни,

ночи...

Войска имели разгульный вид, везде народ шумел.

— Якого полка?

— Пятнадцатого Стрелкового. А вы?

— Второго Запорожского!

— Ко дворам?

— Эге.

— Какой станицы?

— Платнировской.

— А мы, дядечку, расейские, Курской губернии, Грайворонского уезда... Буржуев едем давить.

— Давай бог!

Слева торчали горы Дагестанские, справа

— отвалом —

голубыми вихрями

пылал Каспий батюшка.

На Хасав-Юрте фронтовиков встретили хуторяне. Путаясь в кожухах, они ползали перед вагонами и на разные голоса причитали:

— Ой, лихо! Ой, беда неминуемая! Служивые, оборони! Родимые, защити! Чечены нас забижают. Грабежи, убийство...

Собрали митинг и постановили подать помощь от нападков чеченов.

Постреляли из пушек, не сгружая с платформ.
Кинулись в слободку.

За слободкой — темный лес, собаки лают.
Аул горит, трещит, черепица сыпится, азиат
стреляет до последнего, бабы и ребятишки
воют. Ночь, темно, ни хера не разберешь, по-
вернули назад.

Наменяли у мужиков хлеба на оружие и по-
ехали.

Чугунное тулово печки было раскалено до-
красна. По закопченным стенкам теплушки
полыхало жаром-заревом. Люди спали сидя,
стоя — кто как сумел примениться к своему ме-
сту. Разморенный жарой Максим, обняв мешки,
дремал на верхних нарах. Под дробный говор
колес так ясно видел он себя на молотьебе.

...Пожирая снопы, ровным стуком стучит мо-
лотилка...

...зерно, шипя, течет в уемистые мешки...

...жена Васена подставляет под жолоб рас-
садистые мешки...

...в горьковатой хлебной пыли, обняв сноп,
плывет сын Гаврюшка...

... за ним подгребают меньшей — Лукашка...
...пышет солнышко, жилы в Максиме стонут,
нутро дрожит...

Под утро Кавказ выпустил их из своих ка-
менных объятий, горы начали отставать, впе-
реди снежной пеной закипела степь широкая,
степь Моздокская.

Ду-ду —
— у-у —
— у —
— у-у-у!..

Вырвались с проклятья — Россия!

Стремительные дни ревели, будто яростные
камни в беге с гор.

Пыль —

— дым —

—гром...

Чем дальше от фронта, тем солдат шел все
озорнее.

На разгромленных станциях сами грели ки-
пяток, сами били звонки, давали самое скорое

отправление всем поездам и на все стороны — катать. По ночам из края в край разливалось алое сияние пожарища — с самого лета горели Грозненские нефтяные промыслы.

С нагорья по ветру доносило клекот далеких выстрелов, с нагорья ветром намывало горечь пожаров.

По всему Кавказу с треском разгоралась вражда из-за пастбищ и земельных неурядиц. Осетия, Ингушетия, Чечня, Карачай, Большая и Малая Кабарда тонули в разливах порохового дыма, в сверканьи кинжалов, в тугом свисте шашек.

Дрались горцы и друг с другом и с русскими.

— Свобода! — кричали туземцы. — Земля наша, вода наша, Кавказ наша!

Казаки, как в старину, скот на пастбища выгоняли под сильной охраной, на курганы и на речные броды выставляли сторожевые посты, пойманных на своей земле азиятов чаще всего резали, а иногда с веревкой на шее гнали до земельной границы, запарывали до полусмерти и отпускали с наказом:

— Вот твоя граница, костогрыз. Помни и детям своим прикажи помнить. На мою землю ногу не ставь — отъем.

Караулов, наказной атаман Терского казачьего войска, бросил клич: „Кзаки и горцы — братья! Кзаки и горцы — хозяева Кавказа, а мужиков надо гнать отсюда плетями!“

Фронтвики встретили Караулова на станции Прохладной — один вагон к паровозу прицеплен — и закричали, заматерились на тыщу голосов.

— Как вы, господин атаман, казака застаиваете, большевики рабочего застаивают, буржуи за царя глотки дерут, а кто же об мужике подумает?

— Геть, чертяки! — зыкнул чубатый атаманов гайдук, — пошли прочь от вагона.

Солдаты и усом не повели, еще крику прибавили:

— Как вы, господин атаман, один на паровозе катаетесь, а нам по нужному ехать не на чем? Как вы по тылам мяса да жиры нагуливаете, а мы пропадаем на чужой стороне, как метелики?

— Разойдись, шатия! — колбасным басом кричит атаман и в окно хобот пулемета высовывает.

Тогда, сколько не было на станции людей, все посрывали из-за плеч винтовки и давай в атамановский вагон залпами садить.

Стреляли, пока не надоело. Когда забежали в издудырканный вагон, то Караулов был уже вполне отделан. Он валялся на залитом кровью полу рядом со своим гайдуком. На лысине и плечах атамана охотники насчитали под полсотню пулевых затеков.

На паровозную будку взобрался молодой казачок и прокричал речь, которая всем понравилась:

— Господа солдаты... Вам воевать надоело, и нам воевать надоело! Вы с фронта тикаете, и наш 1-й Волгской полк из Пятигорска весь разбежался! Ваши генералы сволочь, наши атаманы сволочь, и городские комиссары тоже сволочь! Не хотят они нашего горя слушать, не хотят слез наших утереть! Отныне и до века не видать им больше нашего покора, не

дождаться им нашего и поклона! Они нарохтят стравить нас, нарохтят заквасить землю кровью нашей! Не бывать тому! Их мало, нас много! Пообрываем с них погоны и ордена, перебьем их всех до одного и побежим до родных куреней — землю пахать, вино пить да жинок своих любить!

Пошло братанье солдат с казаками.

Рядом же, на запасных путях, вокруг загруженных пушками платформ бегали кабардинцы в высоких папахах. Приспуская чехлы с орудий, они заглядывали в вычищенные стволы, щупали затворы и щитовые прикрытья.

— Русский, продавай.

— Покупай.

— Сколько берешь?

— Сколько убежишь.

— Га, зачем шутить...

Приседая на корточки в круг, они совещались, бормоча все разом и щелкая языками. Потом наново осматривали орудия.

— Солдат, бушка стреляет? Пороха есть?

— Подставляй башку, попробуем.

— У меня башка один, башка жалко, стреляй, пожалуйста, туда на гору.

— Эка, пес, смыслишь...

— Продавай бушка?

— Зачем она тебе?

— Надо бушка. Ингуш—собака, чечен—собака, адыге—собака, натухай—собака... Иё-ей, много собака, воевать буду, продавай.

— Купи.

— Почему?

— Руб фунт.

— Га, зачем смеешься...

Рядились до ночи.

А ночью артиллеристы растаскивали по вагонам связанных баранов и пудовые лепехи сыру овечьего. Потом считали и, ругаясь, делили серебро царской чеканки. С платформ на руках, чтоб грому лишнего не было, кабардинцы сгружали орудия и подпрягали в них уносливых коней.

Погромыхая орудийными щитами, запряжки трогали, мчались в горы, зарывались в ночь и в ветер.

Потолкался Максим в народе и вернулся к себе в теплушку: мешка с одежей не было, остался один ящик с солдатскими голосами.

— Вот так клюква, — огорченно крикнул он, усаживаясь на солдатские голоса, — утащили мешок-то, совесть в людях пропала, прямо из-под задницы рвут.

— Какая ноне совесть, — отозвался, прожевывая сало, белобрысый ополченец, — позавчера под Дербентом своих раненых не подобрали.

— Страмота, — опять сказал Максим, — эдак будем друг у друга шапку с головы воровать, так и свобода нам не в честь, все в цыганскую партию угодим.

— Это как есть, — согласился ополченец и покосился на урну. — Не продаешь?

— Не продаю.

— Чего везешь?

— Голоса.

— Чево-о?

— Солдатские голоса.

— Ааа... Чудно.

— Чудно, да не больно.

— Какой тебе от них прок?

— В Учредилку представить должен, депутат я.

— Э, милоч, хватился. Аль не слышал, в Баке носатый парнишка-то орал: тью-тью Учредилка, палкой по боку ее. Ноне на всей России верхом большевики сидят, а это, брат ты мой, такие люди, такие люди... из одного кулака конфетку кажут, а другим по харе мажут. И тебя, братец, за твои шанцы не похвалят, не побоятся твоих рыжих усов.

— Цыц! — вскочил голодный Максим, свирепо глядя на засаленные до ушей щеки ополченца, — качать я их хотел, и большевиков, и меньшевиков, и тебя, дурака, вместе с ними. Никаких шанцев у меня нет. Полк послал меня, полк доверил мне голоса свои, и я доведу их куда надо.

— Эка, — попятился ополченец, — осатанел, господь с тобой... Я што, я ничего, мое дело ахово...

Из темного угла веселый голос:

— Черти, дверь открой, дышать нечем.

Ополченец, творя молитвы на сон грядущий, угнезживался на своих мешках. Скоро, с под-свистами и перехватами, захрапел и весь вагон.

На одной из остановок Максим посадил молодого гармониста, который обещался даром играть до самого Армавира.

— Ну-ка тряхни,— сказал Максим, усаживаясь на нарах поудобнее,— я ведь тоже игрывал, когда холостым ходил. У меня трехрядка саратовская была, с колокольчиками... Как, бывало, пустишь—отдай все и мало.

— Что там твоя саратовская... Верно, ход в ней легкий и мах большой, а звуку настоящего нет. Ты послушай вот мою ливенку...

Гармонист вывязал из скатерти ливенку, закинул ремень на плечо и, рванув меха, пустил, звонкую трель.

Печка остыла, фронтовиков тревожил холод, удила гармонь. Крякая, харкая и зевая спр-сонок, они подымались, свертывали закурки и молча, с явным удовольствием слушали.

Трепаная, протертая на углах ливенка, смеясь и плача, рассказала про Разина-атамана, про

горюшко бурлацкое. Гармонист переиграл все переборы и вальсы, какие умел, перепел все песни, какие помнил, и, отложив гармонь, принялся разжиглять печку. В сыром сизом дыму проблеснул огонь, заревел огонь в жестяной трубе и растопил молчанье.

Вострый на зуб конопатый фельдфебелишка окликнул гармониста:

— Эй ты, кепка — семь листов одна заклепка, чей будешь?

— Я-то? Я — армавирский.

— Играешь, значит, веселишь народ?

— А что нам, малярам, день марам, неделю сушим.

— Ездил далёка ли, не в узду ли за калёками?

Многие засмеялись, а парень отшутился:

— Аяй, дядя, какой ты дошлый, а ну-ка умудрись, пымай в ширинке блоху, вошь ли, насади ее фитой и держи за уши, чтобы люди завидовали.

Они перебросились еще десятком злых шуток, и фельдфебелишка, истощив свое красноречие, отстал.

Гармонист поставил гармонию на колени и, тихонько перебирая лады, принялся рассказывать:

— Ездил я в городок Георгиевский. За тамошнего пекаря, Ленку Дударя, свою сестренку замуж выдавал. И гульнул же я на свадьбе, ууууу, всех тамошних плясунов переплясал и сейчас еще пятки гудят. Одного кизлярского вина двадцать ведер выпили, а бутылкам и счет потеряли. Ну и это, как говорится, сват у свата на печке наклат. Драку затеяли, свату башку проломили, а все-таки было весело...

Голоса, полные зависти и скрытой обиды:

— И воюй там...

— Тыл он и тыл. Мы воюем, а они жиреют.

— Не скулите вы Христа ради, и так тошно.

Парень, обуреваемый веселыми воспоминаниями, ничего не слушал и лихо топнул ободренным лакированным сапогом, как бы показывая, что хоть сейчас готов и в пляс пуститься.

— Эх, братишки, время идет, время катится, кто не пьет, не гребет, тот спохватится. Дело

мое холостое, завод закрылся, воевать надоело, а сам я парень хоть куда...

— Ново дело, поп с гармонью.

— С кем же ты, сынок, повоевать успел?

— Ууу, мы тут с казаками польщемся почем зря. Они — гремучие звери — то во славу контр-революции восстание поднимут, то забастуют и хлеба в город ни пыли не везут, а нам без толку помирать не хочется.

— Так ты красногвардеец?

— Красногвардеец.

— Расскажи нам, что вы есть за люди и какая у вас цель? Всю дорогу звон слышим, а разобраться не можем.

— Очень даже просто... Мы — за Советы и за большевиков. Наша программа, товарищи, самая правильная, коренная...

— Вон што...

— Так, так...

— Значит, коммуна... А поскольку вы хлеба получаете?

— Кисель, сметана и все на свете наше... Житуха подходящая... Хлеба по два фунта на

рыло получаем, сахару по двадцать четыре золотника, консервы, а жалованье всем одинаково... И командиру и рядовому одно жалованье и одна честь.

Старый солдат с широкой и рябой, как решето, рожей протискался к красногвардейцу и, тыча ему в глаза растопыренными пальцами вразумительно сказал:

— Сынок, не программой надо жить-то, а правдой... — и повернувшись ушел в свой угол.

Мало-по-малу в разговор ввязались, и все заспорили, какая партия лучше.

Кому нужна такая партия, чтоб дала простому человеку вверх глядеть, кому хочется сперва по земле научиться ходить, а кому никакая партия не нужна и ничего не хочется, кроме как до дому довалиться, малых деток к иссохшей груди прижать да на родную жену пасть.

Одни одно кричат, другие другое кричат, а гармонист свое порет:

— Партии, — говорит, — все к революции клонятся, да у каждой своя ухватка и выпляс

свой. Эсэры, лярвы, хорошая партия; меньшевики, гады, не плохи; ну, а большевики, стервы, всех лучше... Меньшевики с эсэрами знай долбят: „Потише, потише“, а мы как гаркнем: „Поддай пару, развей ход!“ Таковой наш клич по всей по России огнем хлестнул — рабочий пошел буржуя бить, мужик пошел помещика громить, а вы фронт поломали и катите домой. Наша большевицкая партия, товарищи, дорогого стоит, у нас в партии ни одного толсто-рожего нет, партия без фокусов.

Слушали не мигая, раскрыв рты. Один шу-хорный фельдфебелишка, прочихавшись после понюшки, визгливо закричал:

— В тылу вы все герои! В заводы и фабрики набились, как воробьи в малину, целых три года деньгу гребли да чирикали — „Война до победы“. Теперь пришлось узлом к гузну, вы и повернули — „мы-ста, товарищи, да вы-ста, товарищи“. Как мы мерзли на горах, вы нас не видали? Как умирали от цынги и тифу, не видали?

— Они на оборону работали, — подсказал белобрысый ополченец, — у баб под юбками.

— Ну, что же,— ответил гармонист,— у вас вчера фронт был, у нас нонче фронт. Вы там кровь роняли, нам придется тут еще больше крови уронить. Что ни город—то фронт, что ни деревня—то фронт, из-под каждой подворотни смерть грозит. Братишки,— вскочил гармонист и махнул ливенкой,— вся Россия огнем взялась, и нам и вам делов хватит...

— Обидно все-таки, три года...

— Ладно, заживет.

— Понятно, нечего друг на друга ядом дышать, время-то какое.

— Время такое, что—ну! Дух в народе поднялся. Каждый себя козырем почувствовал. Вас палками гнали на фронт, а у нас с завода из сотни мастеровых больше половины добровольцами в отряд записалось. В кирпичных сараях ребята печки потушили, двери досками заколотили и все, как один, с песнями, с граем в Красну гвардию пошли. За ними сахарники тронулись, пекаря, кожевники. К отрядам и с воли желающие начали приставать, но им не идея была интересна, а многие задались целью

наживы... Заняли мы одну столицу, поднялась стрельба, все бегут, жители плачут и думают, что пришел свету конец. От испуга одна корова сдохла. Давай, право, отбирать оружие и делать обыски. Тут-то и был получен декрет Крыленки — малодеров расстреливать. Подставили мы одного ухверта к забору, он говорит: „Дай последнее, предсмертное слово“. Дали. Но от испугу он ничего не мог выговорить, и его застрелили. После этого обыски были честные, и никто нигде не запнулся. Переночевали в станице, утром приказ: „Поднимай батарею, отступай“. Мы с радостью давай отступать. Дорогой, как было признано медициной, двое умерли от хлеба со стрихином. А хлебом нас угостили казаки, во — гады...

— Опять война... Что-то уж больно мы развоевались; удержу нет...

— Ну, а как русскому русского бить-то не страшно?

— Сперва, в роде, неловко, — ответил гармонист, — а потом, — а потом, ежели распалится сердце, то подвернись под руку отец родной,

и тому кишки выпустишь. Драться с казаками трудно, они с малых когтей к оружию приучены, а наш брат чумазый больше на святой кулак надеется. Под станицей Отважной бросилась на нас в атаку сотня в пешем строю. Мы стреляем, а они идут во весь рост. Мы стреляем, а они невредимы. Мы стреляем, а они — вот они! — совсем рядом саблями машут и ура кричат. Видим — дело хило. Вылезли мы из окопов к ним навстречу, берем винтовки за дула, да как рявкнули, как пошли их по чубам прикладами глушить... Шестерых у нас тогда ранили, да слесаря Кольку Мухина зарубили, ну, и мы им задали чосу — будут помнить...

Рассказчика тесно обступили и вперебой начали выпрашивать про Россию: можно ли туда проехать, где получать недочеты полкового жалованья, кто фронтовиков разоружает.

— Мы разоружаем, — ответил красногвардеец.

Взметнулись яростные голоса:

— Здорово живешь!

— А вы нас вооружали?

— Как ты смеешь у меня винтовку отобрать, когда я, может, сам хочу с буржуями воевать, да я...

— Оружие мы раздаем дорогим нашим революционным войскам и с приветом отправляем их на Ростовский фронт. Нам не сдадите оружия, так все равно, поедете дальше в Кубанскую область, там вас полковник Филимонов разоружит.

— Какой такой полковник?

— Душа с него вон!

— Мало мы их покувыркали...

— Дело простое: у нас власть советская, а у казаков власть кадетская. Весь Дон, вся Кубань и весь Терек большевиков не признают. У нас рабочие, крестьянские и солдатские *советы*, а у них — казачий *круг* и самостийная *рада*. Они дрожат над кучкой своего дерьма, а мы кричим: „Вся Россия наша“. Филимонов есть войсковой атаман кубанского казачества, и нам с ним так и так царапаться придется.

Теплушка слушала.

— Как у вас титулованье?—спросил красногвардеец.

— „Господа“ — ответили солдаты хором.

— Долой господ! По декрету полагается звать друг друга товарищем.

— Нам все равно, хоч и товарищ, только бы вот недочеты полкового жалованья выдали да хлеба понемногу, с голодудохнем.

— Приедем, похлопочи ты за нас.

Максим побарабанил щикалками по ящику с голосами, на котором сидел, и спросил гармониста:

— Выходит, зря голосовали мы?

— Зря.

— Как так? Не мог же целый полк маху дать.

— Вся Россия, брат, маху дала. Давно бы нам с ними, с гадами, не языками, а штыками разговаривать начать, давно бы...

Паровоз заржал, разговор оборвался, и двери теплушек распахнулись навстречу городу.

Над крышами домов рвалась шрапнель, где-то совсем близко стучали пулеметы. С вы-

сокого закубанского берега восставшие казаки станицы Прочноокопской обстреливали город.

По перрону, как шальные, бегали красногвардейцы, одетые в вольную одежду и обвешенные оружием.

Эшелон медленно подходил к вокзалу.

Забитые пылью, задымленные теплушки —
в скрипе разохшихся ребер,
в кляцаньи цепей,
в железном стоне своем,—

напоминали смертельно уставшую от большого перехода партию каторжников. Из теплушек на ходу прыгали солдаты и, размахивая котелками, бежали за кипятком.

— Бомбы! Бомбы! — завопил один из красногвардейцев, приняв котелки за бомбы, и бросился на утек... За ним, срывая с себя ремни и оружие, последовали и товарищи.

Во след им —

подобен каменному обвалу

— грянул —

— хохот...

Смущенные гвардейцы возвращались по одному и по двое, разыскивали брошенные винтовки, подсумки с патронами и потерянные калоши.

Встречать прибывший эшелон выбежал комендант станции, в шинели нараспашку, с наганом в одной руке и с полураспитой бутылкой — в другой.

— Приветствую вас! — багровея от натуги, заорал он во всю-то силу-моченьку. — Приветствую от имени... от имени... Герои Эрзерумских высот... Защитники дорогого отечества... Долой погоны! Сдавай оружие!

Кругом —

серым серо! Ходи, Росея!

— заорали, засвистали:

— Рви погоны!

— Ложи оружия!

— Галуны и погоны до-ло-о-ой под вагоны!

Столбы, заборы, стены были сплошь уклеены плакатами, декретами и воззваниями к трудящимся народам всего мира.

Всем, всем, всем.

Читай и слушай.

Чины и званья упраздняются.

Все наружные отличья отменяются.

Ордена отменяются.

Офицерские организации уничтожаются.

Вестовые и денщики отменяются.

В Красной гвардии вводится выборное начало.

Мир хижинам! Война дворцам!

Товарищи!

через горы братских трупов,

через реки крови и слез,

через развалины городов и деревень,

— руку, товарищи!

Штыки в землю!

Под удар — царей! Под удар — королей!

Срывай с них короны и головы!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Фронтвики принялись срезать у себя погоны и нашивки, хотя многим и жалко было: тот младший унтер-офицер, тот фельдфебель,

у того кресты и медали — домой всякому хотелось показаться в полной форме.

На путях по вагонам сидели казаки и не желали сдавать оружие. Красногвардейцы, в среде которых были и солдаты из понимающих, выкатили на мост пулеметы и поставили казакам ультиматум: „сдавай оружие“.

Гудки дают тревогу —

— народ бежит —

казаки дрогнули и сдались.

Со стороны города слышалось — „ура!“ „ура-а!“ Откуда-то на шинелях несли раненых.

— Ну, что? Как там?

— Отбили, будь они прокляты.

— Велик ли урон?

Бой был боем турецкого фронта с пулеметным и орудийным огнем, трое суток без передышки.

Максим отправился на поиски хлеба.

Воинские продовольственные лавки были разгромлены. Около заколоченного досками питательного пункта с аттестатами в руках

бродили фронтовики. Горестно ругаясь, понося новые порядки и размахивая припасенными на менку рубахами и подштанниками, солдаты табунами шли на базар.

Хлеба не было ни на базаре, ни в городе. Обкрадываемые торговки на базар глаз не казали, а городские лавочники отсиживались за дубовыми дверями, за железными болтами и, гоня чай, выискивали в священных книгах роковые сроки и числа.

На базаре было весело, как в балагане.

Спозаранок, на пустых хлебных ларях, на солнечном угле сидели солдаты, вшей били и, давясь слюной, про водку разговаривали: все уже знали, что на станции Кавказской счастливицы громят винные склады.

Через толпу пробирался бородатый красногвардеец: за горбом винтовка, на штык насажен сала кусок и связка кренделей.

Казачи, не обращая внимания на декреты, все в погонах, остановили и окружили бородача.

— Купи офицера.

— Какого офицера?

— Хороший офицер, нашей второй сотни, но для беднейшего сословия вредный. Мы его заарестовали и содержим под охраной.

— Зачем он мне?

— Расстреляешь.

— А вы сами?

— Он перед нами не виноватый.

Пока они так разговаривали, один из казаков, изловчившись, срезал у бородача со штыка и крендели и сало, а другой вынул затвор из винтовки.

— Так не возьмешь офицера?

— Нет.

— Ну, прощай... А затвор-то у тебя где?

Тот схватился — нету затвора.

— Отдай, ребята, а то у нас начальник сердитый.

— Шутишь, дядя. Ты его пропил наверно. Посмеявшись над бородачом, продали ему его же затвор за полтинник.

На расправу базарного суда приволокли мальчишку, укравшего подсумок с песенником и рваной гимнастеркой. За утро на ба-

заре убили уже двоих: картежника, игравшего на наколку, и какого-то прапорщика, разругавшегося с солдатами. На оглушенного страхом мальчишку рука не поднималась. Покричали-покричали и решили:

— Петь и плясать ему среди базара до темной ночи.

И один весельчак добавил:

— Ночью иди опять воруи, только не попадайся.

Блеснули теплые, как талый снег, глаза мальчишечьи, закипели зубы в крике:

В арсенальном большом замке

Два матросика сидят.

Оба молоды, красивы,

Про свободу говорят.

Разбитый в мыслях, голодный Максим сорвал с урны печать сургучную и на все солдатские голоса выменял у бабы буханок ржаного хлеба. Присев в сторонке, он разломил хлеб на-пополам, одну краюху за пазуху сунул, другую стал есть над горсточкой, не теряя ни крошки.

Погром на базаре загремел с пустого.

— Почем селедка?

— Четвертак.

— Заверни парочку для аппетита.

— Извольте.

Селедки нырнули в шинельный рукав.

— Служивый, а деньги?

— Ошалела ужина башка?

— Деньги!

— Заплачено... Аль другие хошь согнуть?

Торговка солдата за жабы:

— Подавай денежки, разбойник!

— Это я-то разбойник? — обиделся солдат.

Развернулся —

— цоп бабу по уху.

Покатилась баба в грязь и завизжала на всю губернию, а из-под юбки у нее, на грех, и выкатись запутанные бечевками два каравая хлеба.

Скрипнул зуб, рывкнула глотка солдатская:

— Ах, ты, нация-спекуляция!.. Этак народ мучится, а у ней под за..... юбкой целый ко-пиратив.

Кинулись в драку - собаку.

Под напором плеч и прикладов затрещали лавки. Штык к любому замку подходил. Товары были раскуплены в расхват — колбаса, конфеты, табачок — помалу досталось, а крови за три года полили эва сколько, горького хлебнули досыта: конфеткой, брат, тут не заешь.

Помитинговали, помитинговали и, прожевывая колбасу, покатались в город.

— Должен быть хлеб.

— Деться-то ему некуда, не вихрем подняло в сам-деле.

— Вишь, думу удумали, морить нашего брата голодом.

— Хлеба много, один трубочист сказывал, хлебом все подвалы забиты, а берегут его про немцев.

— Врут, не спрячут, солдат найдет.

— Ребята, бей да оглядывайся, не натворить бы нам какого ералашу...

Максим, дошибив краюшку, пошел на станцию.

В вокзале митинг.

С речами выступали и сторонники разных партий и так просто любители. Кто хотел слушать, тот слушал, а кто пришел под крышу погреться или выспаться: в дальних углах и вдоль стен на мешках они сидели, лежали и мирно беседовали:

— Теплынь...

— Время... Лепень метет дружно, си-и-ла...

— Лепень делу не помеха, Харлам Логыныч. Оно солнышко-то ведрышко как грянет, как заревет — в неделю все сгонит.

— У нас на Дону скоро и овсы сеять начнут.

— Хоть бы к святой домой воротиться, и то благодать.

— Где... Эдакое кругом идет смертоубийство.

Через валявшихся по полу прыгал мальчишка и, как фокусник мячами, играл словами:

— Эх, вот махорка корешки, прочищает кишки, вострит зрение, дает душе ободрение, кровь разбивает, на любовь позывает, давай, налетай, двугривенный чашка.

По буфету бегал оратор:

— Товарищи и граждане! Десять тысяч солдат турецкого фронта избрали меня на почетный пост члена армейского комитета. Преступный и позорный Брестский мир толкает свободную Россию в пучину гибели. Россия, это — пароход, потерпевший в море крушение. Довольно розни и вражды. Большевики хотят сравить вас с такими же русскими, как вы сами. Позор и еще раз позор! Народу нужна не война, а образование и разумные социальные реформы...

Молчаливые солдаты торопливо, ровно на подряд, грызли семечки, угрюмыми волчьими глазами щупали жигилястую фигуру оратора, глядели на торчащие из рукавов белые руки, на жидкие дрыгающие ноги, затянутые в чистенькие обмотки, и решали: стерва, приспешник буржуазии.

Тогда на буфет вспрыгнул небольшой, но крепкий солдат... Он решительно отодвинул жигилястого в сторону и взмахнул рукавами: распахнулась натянутая на голое тело шинель — на расчесанной груди чернел медный крест.

— Братаны!.. Расчихали, куда он гнет и чего воображает? Не гляди, что в шинель одетый, под ней змеиное нутро... Я вот есть действительно фронтовик 39-й пехотной дивизии, Дербентского полка... Наша дивизия по всему Ставрополью и по Кубани ставит на ноги молодую советскую власть... Полк наш расквартирован тут недалече, на хуторе Романовском... Я есть член солдатского комитета, я...

Рукоплесканьями —

— криками —

— слушатели приветствовали члена солдатского комитета... В широких вокзальных окнах с дрогу звенели и дребезжали еще невыбитые стекла.

— ... я приехал сюда для связи. Под Ростовым, действительно, фронт стоит, под Екатеринодаром фронт стоит, домой нам проходу нет, не дают нам в две ноздри дышать, а этот хруст в овечьей шкуре звонил — заслужили, мол, вы славу, доблесть...

Скрестились крики подобно молниям:

— Заслужила собака удавку!

— Вшей полон гашник.

— Он, можа, из офицеров?.. Харя-то больно чиста да строга, ровно у курвячки у хорошей.

— Тоже и Керенский болтал...

— Гражданин, — вскинулся жигилястый, — вы не имеее права... Керенский — сын русской революции.

— Сукин сын, — озлобленно и гулко, как из бочки, выкрикнул кто-то.

— Ха —

— ха —

— ха —

— ха-а-а-а...

Солдат-оратор деловито подтягивал спадающие стеганные штаны — за горбом звякал котелок с кружкой, — говорил он громко, раздельно, чтоб всем и слышно и понятно было:

— Братаны, чего вам тут сидеть и чего ждать? Кто немощен духом, слаб телом — сдавай винтовку, остальные, как один, организуйся в роты, батальоны, полки... Затягни за собой всех, выбирай командира, получай денежное, приварочное и чайное довольствие и

налево кругом марш... Выпускай из буржуа жирную кишку! Загоняй в могилу акул буржуазного класса! Поддерживай молодую свободу, согласно декрета народных комиссаров! Али вы хуже других? Али чужими руками хотите жар загребать? Али вам свобода не мила?

— Мила, мила.

— Едем, товарищи... Кому и быть дружным, как не нам, фронтовикам?

— Артелью не пропадем.

— А домой-то когда же?

— Домо-о-ой?.. Аль давно бабу не доил?

— Буржуев и в Росеи много... Пока проканителмся тут, там без нас всю землю поделят, всю воду отсвятят...

Желающие стали записываться в отряд.

Кого речь прошибла, кому хотелось уехать отсюда, чтоб к дому поближе быть, а кто и спал и видел, как бы на станцию Кавказскую до водки добраться.

Записался в отряд и Максим.

Долго выбирали командиров. Потом разместились по вагонам и подняли хай:

— Давай отправленья!.. Мы записались не гарнизонную службу нести!..

Продукты розданы —

— речи сказаны —

— эшелоны отваливали с музыкой, с криками — ура! ура! и со стрельбой вверх.

И снова — верстовые будки, курганы, балки, поход.

Солдаты в вагонах, солдаты на вагонах, солдаты на буферах, и так по шпалам шайками текли. По дорогам в телегах скакали хуторяне, казаки, бабы бежали старые и малые — с бутылками, четвертями, с ведрами — будто на Ярдань за крещенской водой.

На Кавказской — скопище людей, лошадей, эшелонов. Дальше ходу не было: под Ростовом фронт стоял, и в сторону Екатеринодара окопы порыли, чтоб отгородиться от кубанской рады.

За станцией, перед винными складами, и день и ночь ревмя-ревела — бушевала толпа.

И солдаты, и казаки, и вольные недуром ломились в ворота, лезли через кирпичные стены.

Во дворе упившиеся не падали—падать было некуда — стояли, подпирая друг друга, качались, как гурт скота. Некоторые умудрялись и все-таки падали, их затаптывали на-смерть.

В самом помещении пьяные гудели и кишели, как раки в корзинке.

Колыбался свет стеариновых свечей, на стенах под сетками поблескивали термометры и фильтры. В перегонных чанах спирт отливал беспокойным, синеватым огнем.

Черпали котелками, пригоршнями, картузами, сапогами, а ловкачи — припав — пили прямо, как лошади на водопое. В спирту плавали упущенные шапки, варяжки. На дне самого большого чана был отчетливо виден затонувший драгун лейб-гвардии Волынского полка в шинели, в сапогах со шпорами и с вещевым мешком, перекинутым через голову.

У одного бака выломали медный кран, воючая влага хлынула на цементный пол. Под ногами хрустело битое стекло.

Кругом —

— блаженный смех —

— объятья —

— ругань —

— слезы.

На дворе ревели, подобны львам, с боем лезли в двери, в окна:

— Выходи, кто сыт!

— Сам нажрался, другому дай!

— Сидят, ровно в гостях.

— Допусти свинью до дерьма, обожрется...

— Хватай на все хвосты, ломай на все корки...

— Ээ... Солдат, солдат, солдatina в.....

скотина!

В распахнутом окне третьего этажа в рост стоял старик в рваном полушубке и без шапки. В каждой руке он держал по бутылке: целовал их, прижимал к груди и вопил:

— Вот когда я тебя достал, жаланная!.. Вот оно коко с соком...

Старик упал на головы стоящих во дворе, сломал спинной хребеток, но бутылок из рук не выпустил до последнего издыхания.

Из подвального люка вылез солдат весь в спирте, мокрый, как мышь. Грязны у него были только уши да шея, а объединенное спиртом рыло было сияюще и красно, будто кусок сырой говядины. Из карманов он вытаскивал бутылки коньяку, отшибал у них горлышки, раздавал бутылки направо-налево и визгливо, ровно его резали, кричал:

— Пей!.. Пей!..

Коньяк у него расхватили и, жалеючи, подхватили под руки:

— Земляк, затопчут тебя тут, отойди куда в сторонку, просохни...

— Я... я не пьян.

— А ну, переплюнь через губу.

— Э... э... не умею.

Вытолкали его из давки, и он пошел, выписывая ногами мыслете и подпевая с дребезгом...

Всю-ю-ю глу-би-ну-у-у ма-теринской пе-ча-а-а-али
Трудна пе-ром опи-са-а-ать.

Тут драка, там драка: куда летит штанина,
куда — рукав, куда — красная сопля.

Сгоряча — под снегом, под дождем — шли в Кубань-реку купаться, и тонули. Многих на рельсах подавило. Пьяные, разогнав администрацию и служащих, захватили вокзал и держали его в своих руках трое суток.

Ночью над винными складами взлетел сверкающий серебристый столб пламени.

В здании —

— взрывы —

— вопли пьяных —

— яростный рев раскованного огня.

Тысячная толпа окружила пожарище и ждала — все сгорит или нет?

Один казак не вытерпел и ринулся вперед.

— Куда лезешь? — ухватили его за полы черкески. — Сгоришь!

— Богу я не нужен, а чорту не поддамся...
Пусти, не сгорю, не березовый! — Оставив в руках держателей черкеску, он кинулся в огонь.

Только его и видали.

Тревожное ржанье коней разбудило Максима, — спал он в теплушке у коней под ногами, — на вокзальных окнах и на крашенных

вагонах играли блики пожара. С похмелья Максима ломало, зуб на зуб не попадал. Он встал, разминаясь, и пошел искать похмельки.

Казаки из теплушек коней тянут, сумы тянут — и домой. Солдаты-кубанцы запаслись водкой на дорогу, собираясь в партии, тоже уходили в степь.

К одной партии пристал и Максим.